

*Рышард  
Капуцинский*  
***Император.  
Шахиншах***



Paulsen

По вечерам я слушал тех, кто знал императорский двор. Когда-то они были придворными или имели доступ во дворец. Их осталось мало. Многих расстреляли каратели. Некоторые бежали за границу или сидят в застенках, в подвалах самого дворца, куда они попали прямо из дворцовых салонов. Есть и такие, кто укрывается в горах или монастырях, переодевшись в монашеское платье. Каждый пытался спастись как мог, всеми доступными средствами. Лишь горстка из них осталась в Аддис-Абебе, где, как оказывается, легче всего обмануть бдительность властей.

Я навещал их с наступлением темноты. Приходилось менять машины и одежду. Эфиопы страшно недоверчивы, они не верили в искренность моих намерений — мне же хотелось воссоздать мир, который смели станковые пулеметы Четвертой дивизии. Эти пулеметы установлены на джипах американского производства рядом с водителем. Обслуживают их стрелки, чья профессия — убивать. На заднем сиденье — солдат, который получает приказы по рации. Так как джип — открытая машина, лица водителя, стрелка и радиста защищены от пыли мотоциклетными очками, прикрытыми козырьком каски. Их глаз не видно, а черные, заросшие щетиной лица лишены всякого выражения. Эти «тройки» на джипах так свыклись со смертью, что мчат, как самоубийцы, внезапно разворачиваясь на бешеной скорости, мчат по улицам наперерез движению; все вокруг бросаются врассыпную, когда несется такая ракета. Лучше не попадать в сектор их обстрела. Из рации, стоящей на коленях у того, который сзади, сквозь треск и писк прорываются возбужденные голоса и крики. Кто знает, возможно, один из этих хриплых возгласов — приказ открыть огонь. Лучше спрятаться. Лучше юркнуть в боковую улочку и переждать.

Теперь я углублялся в извилистые и грязные переулки, чтобы попасть в дома, казавшиеся необитаемыми. Я побаивался: такие дома взяты под наблюдение, так что можно было погореть вместе с их обитателями. Это вполне возможно: очень часто прочесывают какой-нибудь городской закуток, даже целые кварталы в поисках оружия, антиправительственных листовок и сторонников старого режима. Все дома теперь друг за другом подглядывают, выслеживают, вынюхивают. Это гражданская война, таков ее лик. Я сел у окна, а мне тотчас же говорят: пожалуйста, пересядьте, вас видно с улицы и легко взять на мушку. Проезжает машина, тормозит, слышны выстрелы. Кто там был: они или не они? И кто теперь эти они, а кто не они, а те, другие, которые против них, потому что они с теми? Машина отъезжает, слышен собачий лай, В Аддис-Абебе ночи напролет лают собаки, это город собак, породистых и одичавших, покрытых колтуном, терзаемых глистами и малярийными заболеваниями псов.

Мне вновь и вновь напоминают о соблюдении осторожности: чтобы никаких адресов, фамилий, чтобы даже лиц не описывать или что высокий, низкий, худой не упоминать, какой лоб, руки, взгляд, ноги, колени — да уже и не перед кем пасть на колени.

Ф.: Это была крохотная собачка японской породы. Звали ее Лулу. Ей разрешалось спать на императорском ложе. Во время различных церемоний она срывалась с коленей императора и писала сановникам на обувь. Господам сановникам не подобало вздрагивать, делать какое-либо телодвижение, когда они чувствовали влагу в ботинке. Моей обязанностью было ходить между сановниками и обтирать им обувь. Имелась специальная атласная вытиралка для этого. Этим я и занимался десять лет.

Л. С.: Император спал в необъятных размеров кровати из светлого ореха. Он был таким щуплым, тщедушным, что был едва

виден, терялся в этой постели. К старости император стал еще меньше, весил всего пятьдесят килограммов. Ел тоже мало и никогда не употреблял спиртного. У него деревенели колени, и, оставаясь один, он волочил ноги и раскачивался из стороны в сторону, словно передвигался на ходулях, но, зная, что кто-то смотрит на него, громадным усилием воли заставлял свои мышцы сохранять эластичность, чтобы его движения были полны достоинства, а императорская фигура по возможности выглядела безукоризненно. Каждый шаг был результатом борьбы между беспомощностью и достоинством, между наклонной линией и сохранением вертикального положения. Достопочтенный господин никогда не забывал о своем старческом дефекте, не желая обнаружить его, чтобы не уронить престиж и авторитет царя царей. Но мы, слуги его опочивальни, могли наблюдать за ним украдкой и знали, чего стоят ему эти усилия. Он привык мало спать и рано, еще затемно, вставать. Вообще сон он рассматривал как необходимость, как напрасную трату времени, которое он предпочел употребить на то, чтобы властвовать и представлять. Сон – это было приватное, камерное вмешательство в его жизнь, призванную протекать среди декора и света. Он просыпался как бы недовольный тем, что спал, раздраженный самим фактом сна, и лишь последующие дневные занятия восстанавливали его душевное равновесие. Добавлю, однако, что император никогда не проявлял ни малейшего признака волнения, гнева, злобы, раздражения. Могло бы сложиться впечатление, что таких душевных состояний он никогда не испытывает, что у него холодные и крепкие, как сталь, нервы или что он начисто их лишен. То была фамильная черта, которую господин наш сумел унаследовать, находя, что в политике нервы – признак слабости, это только поощряет противников и побуждает подчиненных тайком отпускать остроты. А господин знал, что острота – небезопасная форма оппозиции, и поэтому так заботился о безукоризненности своего поведения. Вставал он в четыре,

в пять, а когда отправлялся в зарубежную поездку, и в три часа утра. Позже, по мере того, как обстановка внутри страны обострялась, он все чаще уезжал, и весь дворец занимался подготовкой императора к новым вояжам. Проснувшись, он нажимал кнопку звонка у ночного столика. Бодрствующая прислуга уже была наготове. Во дворце зажигались огни. Для империи это служило сигналом, что достопочтенный господин начал свой новый день.

Й. М.: Император начинал день с выслушивания доносов. Ночь — это опасная пора обдумывания заговоров, и Хайле Селассие знал: то, что свершается ночью, важнее дневных дел, днем все было у него на виду, ночью же все обстояло иначе. Поэтому он придавал огромное значение утренним доносам. Здесь хотелось бы пояснить одну вещь: достопочтенный господин читать не любил. Писаного и печатного слова не признавал, все требовалось излагать ему устно. Господин наш не кончал школ, единственным его учителем (да и то в детстве) был французский иезуит, монсеньор Жером, будущий епископ Харэра и друг Артюра Рембо. Этот духовник не успел приохотить императора к чтению, что, впрочем, осложнялось и тем, что Хайле Селассие уже с отроческих лет занимал самые высокие посты в государстве и на систематическое чтение у него не было времени. Но думаю, дело не только во времени и навыке. Устный доклад обладал тем преимуществом, что в случае необходимости император мог заявить, будто такой-то и такой-то сановник доносил ему нечто противоположное тому, что происходило на самом деле, а тот, не имея письменных доказательств, не мог защититься. Так император получал от своих подчиненных не то, что они ему могли сообщить, но то, что, по его мнению, должно было быть сообщено. У достопочтенного господина существовала своя концепция, и к ней он подгонял все сигналы, поступающие от окружения. Так же обстояло дело и с письменными документами: наш монарх не только не читал, но склонен

был собственноручно ничего не писать и не подписывать. И хотя он правил полвека, даже самые доверенные лица не знают, как выглядела его подпись. Занимаясь государственными делами, император всегда имел при себе министра пера, который фиксировал все его приказы и распоряжения. Поясню здесь, что во время деловых аудиенций достойный господин говорил совсем тихо, едва шевеля губами. Министру пера, стоящему подле трона, приходилось подставлять ухо к императорским устам, чтобы услышать и передать решение монарха. Вдобавок реплики императора были, как правило, туманными и двусмысленными, особенно тогда, когда он не желал занимать определенной позиции, хотя обстоятельства и вынуждали его к этому. Можно лишь восхищаться ловкостью монарха. На вопрос сановника он не отвечал прямо и говорил так тихо, что слова его улавливало лишь придвинутое вплотную, как микрофон, ухо министра пера. Тот записывал скупые и расплывчатые замечания, которые успел буркнуть властитель. Остальное — проблема всего-навсего истолкования, а это уже дело министра; он облачал решение в письменную форму и давал ему ход. Тот, кто возглавлял министерство пера, был самым доверенным лицом императора и обладал колоссальной властью. Основываясь на загадочной каббалистике монарших слов, он мог принимать произвольные решения. Если императорское решение поражало всех меткостью и мудростью, оно служило очередным свидетельством непогрешимости божественного избранника. Если же, наоборот, откуда-то из воздуха, из разных углов до монарха доносился ропот недовольства, достопочтенный господин сваливал все на глупость своего министра. Этот последний был самой ненавистой фигурой при дворе: общественное мнение, находя непогрешимыми мудрость и доброту достопочтенного господина, именно министра обвиняло в злых и нелепых решениях, каких было немало. Правда, дворцовая служба перешептывалась, почему Хайле Селассие не сменил министра, но во дворце вопросы могли

задаваться только сверху вниз, но наоборот – никогда. Впервые громко заданный вопрос в обратном, нежели прежде, порядке и явился сигналом надвигающейся революции. Но я забегаю вперед, и мне необходимо вернуться к той ранней поре, когда на ступенях дворца появляется император, отправляясь на утреннюю прогулку. Он вступает в парк. Это именно тот момент, когда к нему со своим докладом приближается начальник дворцовой разведки – Сэломон Кадыр. Император шествует по аллейке, а приотстав на шаг Сэломон, который говорит и говорит. Кто с кем встретился, где это происходило, о чем был разговор. Против кого они объединились и можно ли это считать заговором? Кадыр докладывает также о работе своего военно-шифровального отдела. Этот отдел контролирует шифровки, которыми обмениваются дивизии (необходимо знать, не назревает ли там заговор). Достопочтенный господин ни о чем не спрашивает, ничего не комментирует, только слушает. Иногда останавливается у клетки со львами, чтобы швырнуть им поданную служителями телячью ногу. Он любит левиную алчность и улыбается. Потом, приблизившись к сидящим на цепи леопардам, бросает им говяжьи ребра. Подходя к опасным хищникам, господин соблюдает осторожность. Наконец он направляется дальше, а за ним продолжающий доносить Сэломон Кадыр. В какой-то момент господин кивком дает знак Сэломону Кадыру, что ему пора удалиться. Тот отвешивает поклон и, пятясь (чтобы не повернуться к монарху спиной), исчезает в одной из аллей. Именно в эту минуту из-за дерева выходит ожидающий своей очереди министр промышленности и торговли Мэконнын Хабтэ Уольд. Он приближается к прогуливающемуся императору и, приотстав на полшага, выкладывает свои новости. У Мэконнына Хабтэ Уольда частная сеть осведомителей, которую он содержит, повинуваясь гложущей его страсти к интригам и желая подлаться к достойному господину. Теперь, основываясь на донесениях агентов, он докладывает императору о событиях

минувшей ночи. Господин наш снова ни о чем не спрашивает, ничего не комментирует, а идет, заложив руки за спину, и слушает. Бывает, что он приблизится к стае фламинго, но эта пугливая птица тотчас обращается в бегство, и император усмехается при виде созданий, не повинующихся ему. Наконец, продолжая путь, он наклоняет голову. Мэконнын Хабтэ Уольд умолкает и, пятясь, скрывается в аллейке. Теперь как из-под земли вырастает согбенная фигура преданного наушника Ашши Уольдз-Микаэля. Этот сановник осуществляет надзор за государственной политической полицией, которая соперничает с дворцовой разведкой Сэломона Кадыра и отчаянно конкурирует с любой частной сетью осведомителей, вроде той, какой располагает Мэконнын Хабтэ Уольд. Занятие, коему предавались эти осведомители, было трудным и опасным. Они жили в постоянном страхе, что о чем-нибудь не донесут вовремя и попадут в опалу или же конкурент представит более исчерпывающий донос и император подумает: почему Сэломон доставил мне сегодня истинное удовольствие, а Мэконнын болтал о пустяках? Ничего не сказал, потому что не знал, или умолчал, сам участвуя в заговоре? Разве не доводилось достопочтенному господину не раз испытать такое на собственной шкуре, когда его предавали самые близкие, самые доверенные лица? И поэтому император наказывал за молчание. Однако и бесвязный поток слов утомлял и раздражал монаршее ухо. Уже сам вид этих людей говорил, на какие опасности они себя обрекли. Невыспавшиеся, измученные, они пребывали в постоянном напряжении, в лихорадке, в погоне за жертвой, задыхаясь от ненависти и страха, в каком жили. Единственной их защитой был император. Но он мог уничтожить их одним жестом руки. Да, добросердечный господин не облегчал им жизнь. Как я уже упомянул, на утренней прогулке Хайле Селассие, выслушивая доносы о заговорах в империи, никогда не задавал вопросов и не комментировал услышанного. Теперь я могу сказать: он знал, что делал. Господин



наш хотел получить донос в стерильно чистом виде, то есть подлинный донос, а если бы он расспрашивал или выражал свое мнение, осведомитель начал бы предупредительно изменять факты, чтобы они отвечали желаниям императора, и тогда вся система доносов приобрела бы такой произвол и субъективизм, что монарх не смог бы узнать истинное положение дел в государстве и во дворце. Уже завершая прогулку, император слушает, что в минувшую ночь удалось разнюхать людям Ашши. Он кормит собак и черную пантеру, потом восхищенно смотрит на муравьеда – подарок президента Уганды. Кивок головой – и Ашши, сгорбившись, удаляется, терзаемый сомнениями, сказал ли он больше или меньше, чем донесли сегодня заклятые его враги – Сэломон, враг Мэконнына и Ашши, и Мэконнын, враг Ашши и Сэломона. Свою прогулку Хайле Селасие завершает в одиночестве. В парке становится светло, мгла редет, в траве играют солнечные блики. Император размышляет, это время выработки тактики и стратегии, решения головоломок персонального плана и подготовки следующего хода на шахматном поле власти. Он анализирует доклады осведомителей. Мало существенного, чаще всего они доносят друг на друга. Наш господин умеет все держать в голове, его мозг – компьютер, который фиксирует каждую деталь, любая мелочь будет учтена. Во дворце не существовало никакого отдела кадров, никаких папок и анкет. Все это император держал в голове, всю самую засекреченную картотеку – досье на представителей правящей элиты. Я прямо вижу, как он идет, останавливается, поднимает лицо, словно предаваясь молитве: О Боже, избавь меня от тех, кто, ползая на коленях, прячет за пазухой нож, который жаждали бы всадить мне в спину. Но чем Господь может помочь? Все люди, окружавшие императора, именно таковы – на коленях и с ножом. На горных вершинах царит вечный холод, дуют ледяные вихри, каждый стоит, съездившись, следя за тем, чтобы сосед не сбросил его в

пропасть.

Т. К-Б.: Дорогой друг, конечно, я все помню. Ведь это было чуть ли не вчера. Чуть ли не вчера и столетие назад. На том же месте, но на иной, отдалившейся планете. Как все это перемешалось: времена, места, мир, разлетевшийся вдребезги, который уже не склеить. Только воспоминания – единственное, что сохранилось, единственное, что осталось от жизни. Я немало времени провел при императоре в качестве служащего министерства пера. Мы начинали работу в восемь, чтобы к девяти, когда приедет монарх, все было готово. Господин наш жил в новом дворце, напротив гостиницы «Африка-холл», а свои официальные функции он отправлял в старом, построенном императором Менеликом<sup>1</sup> дворце, расположенном на соседнем холме. Наше ведомство располагалось именно в старом дворце, где находилось большинство имперских учреждений, так как Хайле Селассие хотел, чтобы все было под рукой. Он приезжал в одной из двадцати семи машин, составлявших его личный парк. Император обожал машины, предпочитая «роллс-ройсы» за их строгий, исполненный достоинства силуэт, но для разнообразия пользовался «мерседесами» и «линкольн-континенталями». Напомню, что господин наш первым познакомил Эфиопию с автомобилем и всегда проявлял благосклонность к энтузиастам технического прогресса, к которым, увы, наш воспитанный в духе традиций народ относился с неприязнью. Ведь император едва не лишился престола и даже жизни, когда в двадцатые годы выписал в Эфиопию первый самолет! Обыкновенный аэроплан в ту пору казался творением дьявола, и по богатым усадьбам возникали заговоры против такого безрассудного монарха, чуть ли не приверженца каббалистики и чернокнижника. С той поры достопочтенному господину пришлось с большей осмотрительностью предаваться своим новаторским увлечениям, пока из-за неприязни, какую в убеленном сединами человеке вызывает всякое новшество, он сам почти начисто не отказался от всякого рода смелых

начинаний. Итак, в девять утра он прибывал в старый дворец. У ворот его поджидала толпа подданных, пытавшихся вручить императору прошения. Теоретически это в империи был самый прямой способ воззвать к правосудию и милосердию. Поскольку наш народ неграмотен, а справедливости, как правило, домогается беднота, эти люди на несколько лет влезали в долги, чтобы заплатить писарю, который изложил бы их жалобы и просьбы. Вдобавок возникала сложность процедурного характера: обычай вынуждал малых сих падать перед императором ниц, а как в таком положении протянуть конверт в проезжающий мимо лимузин? Проблема решалась так: императорская машина сбавляла скорость, за стеклом появлялась излучавшая благорасположенность физиономия монарха, а едущая следом охрана забирала часть прошений из рук простолюдинов, часть, ибо это был целый лес рук. Если толпа придвигалась слишком близко к едущим машинам, гвардейцам следовало отпихивать и отгонять нахалов: соображения безопасности и авторитет монарха требовали, чтобы проезд протекал плавно, без непредвиденных проволочек. Теперь машины въезжали на бегущую в гору аллею и останавливались посреди двора. Здесь императора тоже ждала толпа, но совершенно иная, нежели та голытьба у ворот, нещадно разгоняемая императорскими гвардейцами. Эту толпу, приветствующую монарха во дворе, составляли люди из его окружения. Все мы собирались здесь загодя, чтобы не опоздать к прибытию императора. Этот момент многое для нас значил. Каждый желал обязательно показаться, надеясь, что император его заметит. Нет, никто и не помышлял о каком-то особом знаке внимания – что достойный господин заметит, подойдет и завяжет беседу. Нет, ничего подобного! Признаюсь откровенно, каждый надеялся хотя бы на минимальный знак внимания с его стороны, самый незначительный, самый обычный, пустой, ни к чему не обязывающий, мимолетный, как доля секунды, но такой, чтобы удалось ощутить внутреннее потрясение и чтобы

пронзила торжествующая мысль: меня заметили! Какую силу это впоследствии придавало! Какие открывались безграничные возможности! Ибо предположим, что взгляд достопочтенного господина скользнул по физиономии, только скользнул! Собственно говоря, можно было бы сказать, что ничего не случилось, но в то же время – как это не случилось, если его взгляд скользнул! Мы сразу чувствуем, как вспыхивает наше лицо, кровь ударяет в голову, а сердце начинает биться сильнее. Это лучшее доказательство, что нас коснулось око нашего господина, да и какое мне дело, в данный момент никакие доказательства не имеют значения. Важнее сам процесс, который мог совершиться в сознании нашего покровителя. Ведь известно, что император обладал феноменальной зрительной памятью. И на этот дар природы мог возлагать свои надежды обладатель физиономии, по которой скользнул взгляд императора. Ибо он уже надеялся на то, что какой-то мимолетный след, хотя бы бледная его тень запечатлелась в памяти господина. Теперь требовалось настойчиво и решительно так маневрировать в толпе, так проскальзывать и проталкиваться, так пробиваться и продвигаться, чтобы твоя физиономия все время была на виду и чтобы взгляд императора даже непроизвольно и безотчетно замечал, замечал и замечал ее. Затем следовало ждать, что наступит такой момент, когда император подумает: минуточку, минуточку, лицо мне знакомо, а фамилии я не знаю. И, допустим, спросит фамилию. Только фамилию, но этого достаточно! Теперь физиономия и фамилия соединятся в единое целое, и возникнет личность, готовый кандидат для назначения на должность. Потому что одна физиономия – это анонимная фигура, и фамилия сама по себе – абстрактное понятие, а здесь необходимо материализоваться, конкретизироваться, обрести образ, форму, индивидуальный облик. О, это была такая желанная и вместе с тем такая трудная задача. Потому что во дворе, где свита встречала императора, жаждущих выставить свою физиономию имелись десятки и

даже (я не преувеличиваю) сотни. Физиономия соприкасалась с физиономией, высокие загораживали низких, темные затеняли светлых, физиономии презирали друг друга, старики оттесняли молодых, слабые уступали сильным, физиономия ненавидела физиономию, незнатные сталкивались с благородными, властолюбивые – с немощными, физиономии одна другую подавляли, но и эти, униженные, отверженные, третьестепенные и побежденные, даже они, хотя и на известной дистанции, предопределенной иерархическими требованиями, устремлялись вперед, высовываясь тут и там из-за перворазрядных и титулованных особ, хотя бы только самым краешком уха или виска, щекой или скулой, только бы поближе к императорскому оку! Если бы милостивый господин захотел охватить взором всю открывавшуюся перед ним по выходе из машины картину, он заметил бы, что на него катит покорная и вместе с тем возбужденная, стозевная магма, но кроме этой доминирующей и титулованной массы справа и слева, перед ним и за ним, в отдалении и совсем далеко, в дверях, в окнах, у входа и на дорожках целые толпы лакеев, кухонной прислуги, уборщиков, садовников и полицейских тоже подсовывают ему свои физиономии, чтобы он их заметил. И господин наш взирает на все это. Удивляет ли его такая картина? Сомневаюсь. Господин наш тоже некогда был частичкой этой стозевной магмы. Разве не приходилось ему самому навязывать свое лицо, чтобы только в двадцатичетырехлетнем возрасте сделаться наследником престола<sup>2</sup>. И при этом он выдержал дьявольскую конкуренцию. Целый сонм искушённых сановников добивался короны. Но они слишком спешили, опережая друг друга, готовые схватить один другого за глотку, нервные и нетерпеливые, чтобы раз-два – и на престол! Достопочтенный господин умел ждать. А это архиважный дар. Без подобного умения выжидать, без терпеливого и даже молчаливого согласия на то, что шансы могут появиться спустя годы, политика не существует. Достойный господин десять лет ждал престолонаследия и еще четырнадцать, чтобы

стать императором. В итоге почти четверть века осторожных, но энергичных усилий получить корону. Я говорю осторожных, так как господина отличала скрытность, терпимость и молчаливость. Он знал дворец, знал, что стены имеют уши, что из-за каждой портьеры за ним внимательно наблюдают. Приходилось быть лукавым и хитрым. И разумеется, нельзя было преждевременно открыться, проявить алчную жажду власти: это тотчас объединит соперников и толкнет их на борьбу. Они сразят и уничтожат того, кто высунулся. Нет, годами надо идти в одном строю, следя, чтобы никто не вырвался вперед, и чутко выжидать своего часа. В тридцатом году эта игра принесла господину корону, которую он удерживал срок четыре года.

Когда я показал своему коллеге то, что пишу о Хайле Селассие, а скорее об императорском дворе и его падении, рассказанное теми, кто заполнял салоны, ведомства и коридоры дворца, тот спросил меня, навещал ли я укрывшихся один? Один? Это было бы невозможно! Белый, иностранец – никто из них не пустил бы меня на порог без надежных рекомендаций. И уж ни в коем случае не пожелал бы исповедоваться (эфиопов вообще трудно склонить к признаниям, они способны молчать, как китайцы). Откуда я узнал бы, где их разыскать, кем были и что могли рассказать?

Нет, я был не один, а с проводником.

Ныне, когда он мертв, я могу назвать его имя: Теферра Гебреуолд.

Я приехал в Аддис-Абебу в середине мая 1963 года. Через несколько дней здесь должны были собраться президенты независимой Африки, и император готовил столицу к приему гостей. Аддис-Абеба в тот период представляла собой большую, полумиллионную, деревню, расположенную на холмах, среди эвкалиптовых рощ. На газонах по главной улице Черчилль-роуд паслись стада коров и коз, и машинам

приходилось останавливаться, когда кочевники перегоняли через проезжую часть испуганных верблюдов. Шел дождь, и в боковых улочках машины буксовали в липкой коричневой грязи, погружаясь все глубже и образовав в конце концов целые колонны увязших, неподвижных автомобилей.

Император понимал, что столица Африки должна выглядеть значительно импозантнее, и повелел возвести несколько современных зданий, а также привести в порядок главные городские магистрали. Увы, строительство растянулось до бесконечности, и когда я смотрел на возвышавшиеся в различных точках города строительные леса и занятых там людей, мне вспоминалась сцена, которую описал Ивлин Во, приехавший в 1930 году в Аддис-Абебу поглядеть на коронацию императора:

«Казалось, будто к постройке города приступили только сейчас. На каждом углу виднелись незавершенные здания. Некоторые из них строители уже покинули, возле других работали толпы оборванных туземцев. Как-то днем я наблюдал, как во дворе, у парадного входа, два-три десятка человек под началом мастера-армянина разбирали груды щебня и камней. Требовалось наваливать щебень на деревянные носилки, а потом сбрасывать его на насыпь пятьюдесятью ярдами далее. Мастер с длинной палкой сновал среди людей. Стоило ему на минуту отлучиться, как все замирало. Это не значило, что уборщики усаживались, разговаривали или укладывались на землю, нет, просто они, как коровы на пастбище, замирали в том положении, в каком находились, подчас прямо с кирпичом в руках, погружаясь в летаргический сон. Наконец, являлся мастер, и тогда они опять начинали двигаться, но крайне вяло, как персонажи фильма, снятого методом замедленной съемки. Когда мастер палкой лупил их, они не молили о пощаде, не протестовали, а только чуть проворнее двигались. Но удары прекращались, и движения их замедлялись, а если мастеру приходилось вновь отлучиться, моментально прерывали работу и замирали».